

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



М. Ю. Лермонтов
ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ



Михаил Юрьевич Лермонтов
Герой нашего времени
Серия «Школьная библиотека
(Детская литература)»

Издательский текст

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=25274884

Герой нашего времени: Детская литература; М.; 2014

ISBN 978-5-08-005216-3

Аннотация

«Герой нашего времени» – роман гениального поэта и прозаика, классика XIX века М. Ю. Лермонтова.

Для старшего школьного возраста.

Содержание

М. Дунаев	6
Герой нашего времени	38
Часть первая	40
I	40
Конец ознакомительного фрагмента.	66

Михаил Юрьевич Лермонтов Герой нашего времени

© Дунаев М., вступительная статья, 2000

© Николаев Ю., иллюстрации, 2000

© Оформление серии. Издательство «Детская литература», 2002



М. Лермонтов

1814—1841

М. Дунаев

«История души человеческой»

Что за название – «Герой нашего времени»? В чем его смысл? Напрашивается привычное: типичный представитель своего времени, характернейший характер, характеризующий уровень развития общества, точнее – поколения молодых людей того времени. Так ли? Печорин более похож на исключение – свойствами своей натуры. Правда, сквозь исключительность вернее всего проясняется именно присущее многим, так что не пренебрежем и расхожим толкованием.

Но социальное прочтение всем уже наскучило, если не сказать сильнее. Да и что нам социальные характеристики давно ушедших времен?

Надо учитывать и иронию, в чем сам автор настойчиво наставлял читающую публику и в основном предисловии, и в предисловии к «Журналу Печорина», а авторскими предупреждениями пренебрегать не следует, хотя они порою сознательно обманчивы. Ирония же, как известно, есть употребление слова в противоположном значении. Слово «герой», стало быть, может обрести противозначный смысл: антигерой. Перед нами как-никак художественный текст.

И вообще разгадывать загадки, заданные Лермонтовым, плодотворнее и интереснее, подбираясь к ним с иной сторо-

ны: не занимаясь социально-историческими изысканиями, но пытаясь постигнуть художественное совершенство произведения. Все-таки роман Лермонтова есть литературный шедевр.

Лермонтов явил себя в литературе не только как великий поэт, но и как гениальный прозаик.

Лермонтовскую прозу еще Гоголь определил поэтически: б л а г о у х а н н а я. Чехов восхищался: «Я не знаю языка лучше, чем у Лермонтова. Я бы так сделал: взял его рассказ и разобрал бы, как разбирают в школах, по предложениям, по частям предложения... Так бы и учился писать».

Лермонтовский синтаксис, мастерство построения фразы, завораживающий ритм всей прозы – бесспорны. Вот образец, на котором, следуя совету Чехова, следует учиться писать:

«И точно, дорога опасная: направо висели над нашими головами груды снега, готовые, кажется, при первом порыве ветра оборваться в ущелье; узкая дорога частью была покрыта снегом, который в иных местах проваливался под ногами, в других превращался в лед от действия солнечных лучей и ночных морозов, так что с трудом мы сами пробирались; лошади падали; налево зияла глубокая расселина, где катился поток, то скрываясь под ледяною корою, то с пеною прыгая по черным камням».

Подобная конструкция, бессоюзное сложное предложение, сочетающее ряд сложноподчиненных, включающее

обособленные второстепенные члены и иные усложнения, — представляет немалую трудность, ибо, помимо выразительной ясности смысла, сама выразительность описания должна раскрываться в четком ритме составных частей, лишенном однообразия, но строго выдержанном. Еще более замечательна единая завершающая фраза повести “Княжна Мери”, синтаксис которой можно определить как виртуозный: это тот уровень владения прозой, когда никакие технические препятствия не существуют для мастера, достигшего совершенства:

«Я, как матрос, рожденный и выросший на палубе разбойничьего брига; его душа сжилась с бурями и битвами, и, выброшенный на берег, он скучает и томится, как ни мани его тенистая роща, как ни свети ему мирное солнце; он ходит себе целый день по прибрежному песку, прислушивается к однообразному ропоту набегających волн и всматривается в туманную даль: не мелькнет ли там на бледной черте, отделяющей синюю пучину от серых тучек, желанный парус, сначала подобный крылу морской чайки, но мало-помалу отделяющийся от пены валунов и ровным бегом приближающийся к пустынной пристани...»

На подобное достаточно лишь молча указать, не разрушая того впечатления гармонии, какое не может не испытать всякий, хоть сколько-нибудь восприимчивый к совершенству художественного языка.

Справедливости ради нужно указать и на один существен-

ный недостаток архитектоники романа: слишком навязчивое употребление некоего условного приема, без которого развитие событий просто не могло бы осуществляться. Этот прием отмечен давно: в романе «Герой нашего времени» основные персонажи слишком часто «случайно» подслушивают и подсматривают, сообразуя в дальнейшем свои поступки с обретенными подобным образом сведениями о ситуации, о характерах и намерениях тех, с кем им приходится сталкиваться в ходе развития действия.

Например, в повести «Бэла» Максим Максимыч ненамеренно подслушивает разговор Казбича с Азаматом, предлагавшим в обмен на коня украсть собственную сестру, а затем узнавший о том Печорин организует само похищение. В «Тамани» Печорин опять-таки случайно становится незримым свидетелем разговора контрабандистов, что роковым образом изменило их судьбу. В «Княжне Мери» Печорин же незримо присутствует при заговоре его недоброжелателей, вознамерившихся жестоко посмеяться над ним во время дуэли. И так далее.

Приверженность такой условности объясняется у Лермонтова, скорее всего, некоторой невыработанностью приемов, побуждающих сюжетное движение повествования, – в литературе того времени.

Встречаем в романе и некоторые отголоски романтического мироотображения – прежде всего в построении характера Печорина, несомненно родственного некоторыми чер-

тами стереотипным натурам, какими изобилует романтизм. Это ощутимо хотя бы в той завершающей фразе повести «Княжна Мери», где главный герой сравнивает себя с «матросом разбойничьего брига»: корсары и разбойники слишком часто появляются в романтических поэмах (да и у того же Лермонтова), чтобы такое сопоставление возникло случайно. Исключительная индивидуальность с сильными страстями – это не новость для литературы. Но заслуживает восхищения мастерство, с каким Лермонтов вплетает такой отчасти построенный по шаблону характер в ткань реалистической психологической прозы – без фальши и натяжки, – прозы, основы которой он же и заложил.

Роман «Герой нашего времени» – первый в русской литературе психологический роман, и один из совершенных образцов этого жанра.

Психологический анализ характера главного героя осуществляется в сложном композиционном построении романа, композиция которого причудлива нарушением хронологической последовательности основных его частей. И пусть это стало уже общим местом всех критических разборов «Героя нашего времени», не пренебрежем вновь обратиться к осмыслению композиции произведения как одной из важнейших его художественных особенностей.

Роман состоит из пяти повестей: вслед за общим предисловием идет «Бэла», затем «Максим Максимыч», следующие же три повести, «Тамань», «Княжна Мери» и «Фа-

талист», образуют единый «Журнал Печорина», которому предпослано также особое предисловие.

Истинная хронология иная. Молодой офицер Печорин после некой случившейся в его судьбе и с т о р и и, разрушившей честолюбивые замыслы героя (ничего более подробно мы о том не узнаём), следует к месту нового назначения, остановившись на пути в небольшом и «скверном» городишке Тамани (повесть «Тамань»). Затем на Кавказе он участвует в военных действиях и знакомится с юнкером Грушницким, с которым затем встречается на Водах, где он живет сначала в Пятигорске, а затем в Кисловодске («Княжна Мери»). После убийства Грушницкого на дуэли Печорин отправлен начальством в крепость под начало штабс-капитана Максима Максимыча («Бэла»). Во время двухнедельной отлучки в казачью станицу случается история, описанная в повести «Фаталист». Не вполне ясна последовательность событий двух этих повестей. Скорее, пари с Вуличем, описанное в «Фаталисте», произошло ранее истории похищения Бэлы – и это имеет принципиально важное значение. Вскоре после гибели Бэлы Печорин переведен на новое место, а затем выходит в отставку. Через пять лет после описанных событий Печорин отправляется в Персию и во Владикавказе мимоходом встречается вновь с давним сослуживцем («Максим Максимыч»). Из Персии ему не суждено было вернуться: на обратном пути он умирает (о чем сообщается в Предисловии к «Журналу Печорина»).

Повествование ведется от имени трех рассказчиков: некоего странствующего офицера (которого не следует путать с самим автором), штабс-капитана Максима Максимыча и, наконец, самого центрального героя, молодого прапорщика Григория Александровича Печорина. Зачем понадобились автору разные рассказчики? Ясно: чтобы осветить события и характер центрального героя с разных точек зрения, и как можно полнее. Но у Лермонтова ведь не просто три рассказчика, но три различных типа рассказчика – вот важно. Какие это типы? Их и всего-то три встречается: сторонний наблюдатель происходящего, во-первых, второстепенный персонаж, участник событий, во-вторых, и сам главный герой, в-последних. Над всеми тремя главенствует создатель всего произведения, Автор, разгадать личность которого, основываясь на разборе его творения, занятие самое увлекательное.

Со всеми тремя мы сталкиваемся в романе. Но тут не просто три точки зрения, но три уровня постижения характера, психологического раскрытия натуры «героя времени», три меры постижения сложного внутреннего мира незаурядной индивидуальности. Присутствие трех типов рассказчика, их расположение в ходе повествования тесно увязывается с общей композицией романа, определяет и хронологическую перестановку событий, одновременно находясь в сложной зависимости от такой перестановки.

Начинает рассказ о Печорине Максим Максимыч, человек нам безусловно симпатичный, добрый, но простоватый

(чтобы не сказать – недалекий). Он много наблюдал Печорина, но разобраться в его характере решительно не в состоянии: Печорин для него с т р а н е н, о чем он простодушно заявляет в самом начале своего рассказа: «Славный был малый, смею вас уверить; только немножко странен. Ведь, например, в дождик, в холод целый день на охоте; все иззябнут, устанут, – а ему ничего. А другой раз сидит у себя в комнате, ветер пахнёт, уверяет, что простудился; ставнем стукнет, он вздрогнет и побледнеет; а при мне ходил на кабана один на один; бывало, по целым часам слова не добьешься, зато уж иногда как начнет рассказывать, так животики надорвешь со смеха... Да-с, с большими был странностями...»

Не столь наивный читатель тут же заподозрит неладное: человек вздрагивает от резкого звука не из трусости вовсе, но выведенный из состояния глубокой задумчивости, погруженности в себя, о чем свидетельствует и следующее замечание: порою «слова не добьешься». Но Максиму Максимычу такое состояние неведомо и оттого непонятно, он и прибегает, как то делают всегда подобные лица, к объяснению.

Но все же странности некоторые в характере молодого офицера не могут не заинтересовать читателя. Из рассказа Максима Максимыча вынесет он впечатление о главном герое как о человеке черством, даже жестоком. Ради прихоти своей Печорин разрушает судьбу, делает несчастливыми нескольких человек. А когда уже после похорон Бэлы Максим Максимыч, отчасти соблюдая банальный ритуал, начи-

нает высказывать Печорину слова сочувствия, тот лишь смеется в ответ. «У меня мороз пробежал по коже от этого смеха», — признается штабс-капитан. И впрямь странность какая-то.

Сам Печорин, пытаясь объяснить Максиму Максимычу свое состояние, свое поведение, высказывает парадоксальную мысль, принять которую не всякий сможет сразу и безоговорочно: «...у меня несчастный характер: воспитание ли меня сделало таким, Бог ли так меня создал, не знаю; знаю только то, что если я причиною несчастья других, то и сам не менее несчастлив; разумеется, это им плохое утешение — только дело в том, что это так. <...> Глупец я или злодей, не знаю; но то верно, что я также очень достоин сожаления...»

И впрямь странный. Но в чем разгадка такой странности? — Максим Максимыч не может помочь нам в наших сомнениях.

Далее рассказ переходит к безымянному странствующему офицеру. Он далеко превосходит штабс-капитана в наблюдательности. Так, он делает замечание, на которое Максим Максимыч никогда не был бы способен; недолго наблюдая Печорина, он предполагает: «Его походка была небрежна и ленива, но я заметил, что он не размахивал руками — верный признак некоторой скрытности характера».

Введение в ткань романа второго рассказчика корректирует фокус изображения. Если Максим Максимыч рассматривает события как бы в перевернутый бинокль, так что всё

в поле его зрения, но все слишком общо, то офицер-рассказчик приближает изображение, переводит его с общего плана на более укрупненный. Однако у него как у рассказчика есть важный недостаток в сравнении со штабс-капитаном: он слишком мало знает, довольствуясь лишь мимоходными наблюдениями. Вторая повесть поэтому в основном подтверждает впечатление, вынесенное после знакомства с началом романа: Печорин слишком равнодушен к людям, иначе своею холодностью не оскорбил бы Максима Максимыча, столь преданного дружбе с ним. Да и поистине странный он какой-то, и странность его явно проступает во всем облике его, противоречивом даже для постороннего встречного.

И не только к ближнему своему оказывается равнодушен герой, но и к себе, отдавая Максиму Максимычу свои записки, тот самый Журнал, который окажется основной частью романа. Позднее узнаем мы, что записки эти были для него прежде драгоценны: «Ведь этот журнал пишу я для себя, — наталкиваемся мы между прочих и на такую запись, — и, следовательно, все, что я в него ни брошу, будет со временем для меня драгоценным воспоминанием». И вот ему едва ли не постыла вся его прежняя жизнь, раз ни в грош не ставит он теперь воспоминания о ней: не может же не знать, что давний приятель употребит драгоценную некогда рукопись, скорее всего, на патроны. И сам поступок этот усугубляется глубоким наблюдением рассказчика над внешностью неожиданного встречного: «...о глазах я должен сказать еще

несколько слов. Во-первых, они не смеялись, когда он смеялся! Вам не случалось замечать такой странности у некоторых людей?.. Это признак – или злого нрава, или глубокой постоянной грусти. Из-за полуопущенных ресниц они сияли каким-то фосфорическим блеском, если можно так выразиться. То не было отражение жара душевного или играющего воображения: то был блеск, подобный блеску гладкой стали, ослепительный, но холодный; взгляд его – непродолжительный, но пронизательный и тяжелый, оставлял по себе неприятное впечатление нескромного вопроса и мог бы казаться дерзким, если бы не был столь равнодушно спокоен».

Вторая повесть способна лишь раздражить воображение читателя: что же истинного в Печорине – злой ли нрав (к чему так легко склониться как будто) или глубокая постоянная грусть? Ко второму ответу подталкивает некоторое сомнение. Но сам рассказчик слишком немного дает оснований, чтобы окончательно принять ту или иную версию.

И только после этого, возбудив пытливый интерес к столь необычному характеру, заставив читателя, отыскивающего ответ, быть внимательным ко всякой подробности дальнейшего рассказа, автор меняет повествователя, давая слово самому центральному персонажу: как рассказчик он имеет несомненные преимущества перед двумя предшественниками своими, ибо не просто знает о себе более других (что естественно), но и способен осмыслить свои поступки, побуждения, эмоции, тончайшие движения души – как редко

кто это умеет. Трудно даже сразу понять, чем он более озабочен – действием или размышлением над смыслом действия. В нем одном – идеальное совмещение и героя, и тонкого наблюдательного рассказчика. «Я взвешиваю, разбираю свои собственные страсти и поступки с строгим любопытством, но без участия. Во мне два человека: один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его...» Печорин наводит на свою душу увеличительное стекло, и она предстанет перед всеми без прикрас, без попытки рассказчика что-то утаить, сгладить, дать в более выгодном свете, ибо он исповедуется самому себе, зная, что самого себя обмануть нечего и пытаться: для этого его ум слишком проницателен.

«История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа, особенно когда она – следствие наблюдений ума зрелого над самим собою и когда она писана без тщеславного желания возбудить участие или удивление», – предваряет рассказчик наше знакомство с записками Печорина, которые он решился опубликовать, и тем указывает нашему и без того обостренному вниманию, по какому пути следует устремиться.

Однако первая часть Журнала Печорина отнюдь не рассеивает нашего недоумения, а лишь усугубляет его. Важно: не зная мы начала, не восприняли бы в полноте и парадокса: натура Печорина предстает перед нами в резком контрасте тому, что мы уже знаем о нем. Важно также: переход от

второй повести к третьей сопряжен не только со сменой рассказчика, но и резким хронологическим сдвигом – из самого завершения истории героя мы переносимся в ее начало. И видим вдруг, что перед нами не застывший романтический характер, но индивидуальность в ее развитии. И оказывается, не был Печорин прежде столь ленив душою и телом, как в конце, – напротив: он подвижен, любопытен, полон внутренней энергии. Его романтический настрой возбужден некой тайной (на поверку тайна обернулась заурядной обыденностью: *честные контрабандисты* не стремились обнаружить свою деятельность при свете дня, только и всего), он пускается в опасную авантюру и применяет немалые усилия, чтобы остаться в живых.

Печорину времени путешествия в Персию, пожалуй, лень было бы лишний шаг сделать ради раскрытия какой бы то ни было загадки. Единственно, что в нем неизменно от начала до конца (видим мы теперь), – это способность приносить несчастья всем, с кем его сводит судьба. Добро бы заботился о недопущении беззакония, а то ведь одно праздное любопытство всему виною.

Третья повесть лишь еще больше озадачивает читателя, следящего не просто за сменой событий, но озабоченного разгадыванием внутреннего развития человеческой индивидуальности. Когда бы повесть «Тамань» стояла в начале романа, как ей и положено по временной последовательности, она не смогла бы возбудить в читателе никаких вопросов, но

лишь породила бы поверхностное впечатление: какие только диковинные случаи не приключаются порою на этом свете!

Лишь только после того, как восприятие наше предельно обострено, начинается самораскрытие характера главного героя романа, героя столь давнего уже для нас времени. Печорин постоянно рефлектирует, занят самокопанием, самоедством – его беспокоят внутренние противоречия собственных стремлений и поступков. И равнодушный читатель сможет разглядеть, что и его собственное время может стать для него отчасти ближе и понятнее, когда он без лености душевной осмыслит жизненный итог этого никогда не существовавшего персонажа, рожденного вымыслом художника. Никогда не существовавшего в реальности, но вот уже полтора века существующего в умах и воображении всякого образованного русского человека.

Знакомясь с записками Печорина, мы получаем возможность судить его непредвзято и бесстрастно. Именно судить, осуждать, поскольку суждение и осуждение направляется здесь не против человека (его нет, он лишь бесплотный вымысел), но против того греховного состояния души, какое запечатлено Лермонтовым в образе Печорина.

Печорин проницателен и видит порою человека насквозь. Только обосновавшись в Пятигорске, он иронично предполагает уровень взаимоотношений между местными дамами и желающими привлечь их благосклонность офицерами: «Жены местных властей... менее обращают внимания на мун-

дир, они привыкли на Кавказе встречать под нумерованной пуговицей пылкое сердце и под белой фуражкой образованный ум». И пожалуйста: Грушницкий при первой же встрече почти дословно повторяет то же, но уже вполне всерьез, осуждая приезжую знать: «Эта гордая знать смотрит на нас, армейцев, как на диких. И какое им дело, есть ли ум под нумерованной фуражкой и сердце под толстой шинелью?» Добиваясь власти над душою княжны Мери, Печорин на несколько ходов вперед предугадывает развитие событий. И даже недоволен этим – это становится скучным: «Я все это знаю наизусть – вот что скучно!»

Но как ни иронизирует Печорин над банальными ужимками ближних своих, он и сам не прочь использовать те же высмеиваемые им приемы ради достижения собственной цели. «...Я уверен, – мысленно высмеивает Печорин Грушницкого, – что накануне отъезда из отцовской деревни он говорил с мрачным видом какой-нибудь хорошенькой соседке, что он едет не так просто, служить, но что ищет смерти, потому что... тут он, верно, закрыл глаза рукою и продолжал так: «Нет, вы (или ты) этого не должны знать! Ваша чистая душа содрогнется! Да и к чему? Что я для вас? Поймете ли вы меня?..» – и так далее». Втайне посмеявшись над приятелем, Печорин вскоре произносит перед княжною эффектную тираду: «Я поступил, как безумец... этого в другой раз не случится: я приму свои меры... Зачем вам знать то, что происходило до сих пор в душе моей? Вы этого никогда не узна-

ете, и тем лучше для вас. Прощайте». Сопоставление любопытное.

Он же точно рассчитывает поведение Грушницкого на дуэли, складывая по своей воле обстоятельства так, что, по сути, лишает противника права на прицельный выстрел, и тем ставит себя в более выгодное положение, обеспечивая собственную безопасность и одновременно возможность распорядиться жизнью бывшего приятеля по собственному произволению.

Подобные примеры можно множить. Печорин незримо руководит действиями и поступками окружающих, навязывая им свою волю и тем упиваясь.

Он и в себе не ошибется, не утаив от собственного внимания скрытые слабости душевные. И читатель, способный сопоставить и осмыслить поступки персонажей, обнаруживает неожиданно мелочность и тщеславие, достойное скорее Грушницкого: «Мне в самом деле говорили, что в черкесском костюме верхом я больше похож на кабардинца, чем многие кабардинцы. И точно, что касается до этой благородной боевой одежды, я совершенный денди: ни одного галуна лишнего; оружие ценное в простой отделке, мех на шапке не слишком длинный, не слишком короткий; ноговицы и черевики пригнаны со всевозможной точностью; бешмет белый, черкеска темно-бурая».

Или другое – страсть противоречить, в какой он себе признается. Кто знает эту страсть, знает и источник ее – то, что

современным языком определяется как комплекс неполноценности. Помилуйте, у Печорина-то?! Гордыня – да. Он весь переполнен гордынею, сознавая в самоупоении собственное превосходство над окружающими: он же умный человек и не может такого превосходства не сознавать. Так, конечно. Но гордыне всегда сопутствует тайная мука, утишить которую можно, лишь противореча всем и всему, противореча ради самой возможности опровергать, выказывая тем себя, независимо от того, стоит за тобою правда или заблуждение. Само стремление романтической натуры к борьбе есть следствие такого комплекса, обратной стороны всякой гордыни. Гордыня и комплекс неполноценности неразлучны, они борются между собой в душе человека незримо порою, составляя его муку, его терзания и постоянно требуя себе в качестве пищи борьбу с кем-то, противоречие кому-то, власть над кем-то. «Быть для кого-нибудь причиною страданий и радостей, не имея на то никакого положительно-го права, – не самая ли это сладкая пища нашей гордости?» Печорин действует исключительно ради насыщения гордыни. «...Я люблю врагов, хотя не по-христиански. Они меня забавляют, волнуют мне кровь. Быть всегда настороже, ловить каждый взгляд, значение каждого слова, угадывать намерения, разрушать заговоры, притворяться обманутым, и вдруг одним толчком опрокинуть все огромное и многотрудное здание их хитростей и замыслов, – вот что я называю жизнью».

Для того чтобы перед самым собою так безжалостно обнажать свои пороки, как это делает Печорин, точно нужно мужество, и особого рода. Человек чаще стремится скрыть от самого себя нечто мучительное в своей натуре, в жизни, — даже убежать от действительности в мир опьяняющей и глушащей сознание грезы, выдумки, приятного самообмана. Трезвая самооценка — часто дополнительная причина внутренней депрессии, терзаний. Печорин становится поистине героем своего времени, ибо не прячется от настоящего ни в прошлом, ни в мечтах о будущем, он становится исключением из правила, персонифицированного Грушницким, этим напыщенным обманщиком самого себя.

Печорин — герой. Но героизм его — душевный, не духовный по природе своей. Печорин — эмоционально мужественный человек, но он не в состоянии раскрыть в себе самом своего истинного *внутреннего человека*. Упиваясь своею силою или терзаясь внутренними муками, он вовсе не смиряет себя даже тогда, когда видит в себе явные слабости, явные падения; наоборот, он постоянно склонен к самооправданию, которое соединяется в душе его с тяжким отчаянием. Не столь уж он рисуется, когда произносит перед княжной знаменитую свою тираду: «Все читали на моем лице признаки дурных свойств, которых не было; но их предполагали — и они родились. Я был скромен — меня обвиняли в лукавстве: я стал скрытен. Я глубоко чувствовал добро и зло; никто меня не ласкал, все оскорбляли: я стал злопамятен; я был

угрюм — другие дети веселы и болтливы; я чувствовал себя выше их, — меня ставили ниже. Я сделался завистлив. Я был готов любить весь мир, — никто меня не понял: и я выучился ненавидеть. Моя бесцветная молодость протекала в борьбе с собою и светом; лучшие мои чувства, боясь насмешки, я хоронил в глубине сердца: они там и умерли. Я говорил правду — мне не верили: я начал обманывать; узнав хорошо свет и пружины общества, я стал искусен в науке жизни и видел, как другие без искусства счастливы, пользуясь даром теми выгодами, которых я так неутомимо добивался. И тогда в груди у меня родилось отчаяние — не то отчаяние, которое лечат дулом пистолета, но холодное, бессильное отчаяние, прикрытое любезностью и добродушной улыбкой. Я сделался нравственным калекой...»

В словах Печорина есть и доля истины. Недаром говорится в Евангелии: «Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы». Это Печорин сознавал вполне. Но евангельские слова раскрывают всю неполноту сознания лермонтовского героя: «Отрезвитесь, как должно, и не грешите; ибо, к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога».

Печорин готов переложить вину на «дурное сообщество», но своего безбожия осознать не стремится отнюдь. Незнание Бога влечет в направлении вполне определенном.

В нем нет смирения, оттого он не сознает в слабости своей натуры глубоко укорененную греховность. Можно сказать,

Печорин искренен в своем нераскаянии: он простодушно не различает многие свои грехи. Он трезво сознает собственные пороки, но не сознает в них греха.

«Погубляет человека не величество, не множество грехов, но нераскаянное и ожесточенное сердце» – эти слова святителя Тихона Задонского можно бы поставить эпиграфом ко всему роману.

Если проследить поведение и размышления главного героя лермонтовского романа, то, пожалуй, он (герой, а не роман) останется чист только против девятой заповеди: лжесвидетельством своей души он не пятнает; хотя, должно признать, порою Печорин иезуитски изворотлив и, не произнося лжи несомненной, ведет себя, без сомнения, лживо. Это заметно в его отношениях с Грушницким, то же и с княжной: нигде ни разу не говоря и слова о своей любви (какой и нет вовсе), он не препятствует ей увериться в том, что всеми его действиями и словами движет именно сердечная склонность. Совесть вроде бы чиста, а уж коли кто в чем-то обманывается, тут его собственная вина.

О первых четырех заповедях, объединенных общим понятием любви человека к Создателю, говорить по отношению к Печорину вроде бы бессмысленно. Однако нельзя его назвать человеком вполне чуждым религиозному переживанию, хотя бы в прошлом. Слабые отблески отошедшей от него веры заметны в некоторых второстепенных деталях, существенно важных для понимания его судьбы. Деталей

ми-то пренебрегать нельзя: Лермонтов пользуется ими умело и тактично, и чуткому писателю они немалое раскроют (недаром Чехов, великий мастер художественной детали, так восхищался Лермонтовым).

Вот заходит Печорин в лачугу контрабандистов: «На стене ни одного образа – дурной знак!» Впрочем, это можно расценить как приметливость человека, к иконам тоже равнодушного. Но полностью равнодушный ничего и не заметит. Печорин оказывается знакомым с Писанием: цитирует, хотя и неточно (скорее, не цитирует, а перелагает своими словами) одно из пророчеств Исайи: «В тот день немые возопиют и слепые прозрят». Другой раз Печорин цитирует Евангелие: «...я обогнал толпу мужчин, штатских и военных, которые, как я узнал после, составляют особенный класс людей между чающими движения воды. Они пьют – только не воду...» Всякий узнает здесь известный эпизод, отмеченный в Евангелии. Правда, оба раза в обращении Печорина к Писанию сквозит ирония, что должно признать греховным нарушением третьей заповеди (обращение к слову Божьему всуе – при расширительном толковании заповеди), однако о лермонтовском герое нельзя сказать, что он пребывает вне религии вообще.

Важно осознать: Печорин как бы исповедует перед самим собою, но исповедь эта остается безблагодатною – не только потому, что нецерковна. У него и наедине с собою, со своею собственной совестью, застлан взор. Он не различает

откровенной греховности. Почему?

Важнейшим энергетическим узлом всего романа должно признать следующее рассуждение Печорина:

«А ведь есть необъятное наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся души! Она как цветок, которого лучший аромат испаряется навстречу первому лучу солнца; его надо сорвать в эту минуту и, подышав им досыта, бросить на дороге: авось кто-нибудь поднимет! Я чувствую в себе эту ненасытную жадность, поглощающую все, что встречается на пути; я смотрю на страдания и радости других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую мои душевные силы. Сам я больше не способен безумствовать под влиянием страсти; честолюбие у меня подавлено обстоятельствами, но оно проявилось в другом виде, ибо честолюбие есть не что иное, как жажда власти, а первое мое удовольствие – подчинять моей воле все, что меня окружает; возбуждать к себе чувство любви, преданности и страха – не есть ли первый признак и величайшее торжество власти? Быть для кого-нибудь причиною страданий и радостей, не имея на то никакого положительного права, – не самая ли это сладкая пища нашей гордости? А что такое счастье? Насыщенная гордость. Если бы я почитал себя лучше, могущественнее всех на свете, я был бы счастлив; если б все меня любили, я в себе нашел бы бесконечные источники любви. Зло порождает зло; первое страдание дает понятие о удовольствии мучить другого; идея зла не может войти в голову человека без

того, чтоб он не захотел приложить ее к действительности: идеи – создания органические, сказал кто-то: их рождение дает уже им форму, и эта форма есть действие; тот, в чьей голове родилось больше идей, тот больше других действует; от этого гений, прикованный к чиновничьему столу, должен умереть или сойти с ума, точно так же, как человек с могучим телосложением, при сидячей жизни и скромном поведении, умирает от апоплексического удара».

Печорин рассуждает о честолюбии, но так изъясняется обыденное сознание. На языке святоотеческом это обозначено точнее: перед нами грех л ю б о н а ч а л и я. Откровенный, ничем не прикрытый. Гордыня слишком мощная. Можно ли более очевидно, нежели это сделал Печорин, возносить «бесовскую молитву»: да будет воля моя! Он э т и м живет, это движет всеми его действиями. Конечно, Печорин мелочен в своих побуждениях и действиях, но бесовское начало не перестает оттого быть менее губительным, лукавым и мрачным, менее бесовским по природе своей. Да ведь в исходе – смерть и страдания человеческие, как ни презирай он Грушницкого и ни пожимай равнодушно плечами перед слезами княжны. Пусть тут частный случай, да еще в мелочном проявлении, однако в нем, как в капле, отражен общий бесчеловечный закон сатанинского разрушающего начала.

Лермонтов, хотел он того или нет, показал закономерный итог, к которому вынужденно приходит человек эвдемонического типа культуры, кто раньше, кто позднее. Раньше

приходят именно герои. Ведь в изначальном своем стремлении к счастью человек начинает осмыслять его в категориях чувственного удовольствия.

Именно пресыщение чувственными удовольствиями рождает в нем иное понимание счастья, откровенно сатанинское по природе своей: «А что такое счастье? Насыщенная гордость». Христианство учит: именно гордыня есть основа того зла, в котором пребывает мир. Гордыня дьявольская – и гордыня человеческая. И она слишком откровенно превозносится Печориным как высшая и самодовлеющая ценность человеческого бытия. Он творит себе из нее кумира и подчиняется ей безусловно.

Печорин все осмысляет и оценивает в категориях первенствования, господства, желания получить, а не отдать. Он во всем ищет с в о е г о: в любых взаимоотношениях с ближними. «...Я к дружбе не способен: из двух друзей всегда один раб другого...» Это о дружбе. А вот к чему свелось желание любви: «...теперь я только хочу быть любимым...»

Однако счастья это не дает. Недаром же преподобный Ефрем Сирий в своей великопостной молитве ставит рядом два безблагодатных состояния: дух уныния и дух любоначала. Печорин пребывает в духе уныния – несомненно. Он познает высшую степень уныния – отчаяние и тоску.

Созидание фальшивых кумиров, установление неверных целей может лишь обесмыслить жизнь, что и ощущает в конце концов Печорин – с неизбежностью.

Печорин – «лишний человек», это известно. Пусть сей предмет и кажется кому-то скучноватым, но и банальная истина – все же истина, и не годится ею совершенно пренебрегать. Знаменитый внутренний монолог Печорина в ночь перед дуэлью большинство знает едва ли не наизусть.

Печорин не знает истинной любви. Но, говорится в Евангелии: «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь».

Для Печорина источником любви мыслится удовлетворенная гордыня: «...если бы все меня любили, я в себе нашел бы бесконечные источники любви». Любовь же других, не забудем, для него есть лишь пища, питающая его любовначалие. Сознает ли он свой парадокс: сатанинское начало должно породить состояние души, приближающее ее к Богу?

Но по истине – Печорин изгнал Бога из своей души, обужанной гордынею, а взамен получил лишь пустоту отчаяния.

Вот так и входит в человека ощущение неполноценности: он оказывается одиноким, ему не на что опереться в самом себе. Поэтому его внутреннее страдание может родить только зло: «Зло порождает зло; первое страдание дает понятие об удовольствии мучить другого». Этот нравственный садизм есть явный результат отсутствия Бога в душе; в душе, полной любви, собственное страдание рождает возможность сострадания к ближнему, и только это. Там, где поселяется бес, – «зло порождает зло».

Как и всякий человек, смутно сознающий свою вину во

всех собственных (и не только собственных) бедах и стремящийся оправдаться хотя бы перед собою, и прежде всего перед собою, своей совестью, Печорин старается отыскать для себя какие-то смягчающие обстоятельства, если не полное избавление от всех обвинений и укоров совести. Это не может не подтолкнуть его к размышлениям о судьбе как о внешней силе, определяющей его поступки и снимающей с него хоть какую-то долю вины. В записках Печорина заметна эта явная склонность к отысканию возможности самооправдания. «С тех пор как я живу и действую, судьба как-то всегда приводила меня к развязке чужих драм, как будто без меня никто не мог бы ни умереть, ни прийти в отчаяние! Я был необходимое лицо пятого акта; невольно я разыгрывал роль палача или предателя. Какую цель имела на это судьба?» Или: «И с той поры сколько раз уже я играл роль топора в руках судьбы! Как орудье казни, я упал на голову обреченных, часто без злобы, всегда без сожаления...» В самом деле: не виновны же палач и топор в том, что являются лишь орудием некоей высшей воли.

Порою мысль о судьбе способна уязвить печоринскую гордыню: «Неужели, думал я, мое единственное назначение на земле – разрушать чужие надежды? <...> Уж не назначен ли я судьбою в сочинители мещанских трагедий и семейных романов – или в сотрудники поставщику повестей, например, для «Библиотеки для чтения»?.. Почему знать?.. Мало ли людей, начиная жизнь, думают кончить ее, как Александр

Великий или лорд Байрон, а между тем целый век остаются титулярными советниками?...»

Фатализм, к которому так заметна склонность Печорина, мог иметь для него вполне определенные последствия, что и случилось. Прежде всего существование непреложной судьбы снимает с человека всякую ответственность – а Печорин к тому весьма склонен. Но фатализм порождает и безволие, бездействие, безысходность. И впрямь: чего ради суетиться и чего-то желать, когда все определяет посторонняя воля, безликая ли судьба, всемогущий ли Бог? А это и крах всех честолюбивых притязаний: нечего тешить себя иллюзией, мнить себя творцом развивающейся драмы; судьба заставляет лишь участвовать в пошлой мещанской истории. И ты сам становишься лишь послушной марионеткой в руках неведомого кукловода. И каков смысл в той страстной мольбе: «да будет воля моя»?

Поэтому тот спор, что разгорелся между персонажами повести «Фаталист» относительно предопределения, для всех участников объясняется обычным любопытством, но в душе Печорина он обретал значение величайшей важности. Заметим: герой принимает решающее участие в ходе события – держит пари с Вуличем; подталкивает его намеренно провоцирующей репликой, лишь только возникло подозрение, что испытание судьбы не состоится; внимательно следит за всеми действиями поручика.

И как не убедиться (хоть на миг) в существовании судь-

бы, когда размышление об участи несчастного Вулича с такой парадоксальной убедительностью склоняет к тому. Затем Печорин уже на себе испытывает судьбу, и снова с тем же итогом: что иное, как не судьба, спасает его от неминуемой, казалось бы, гибели, когда пуля пьяного казака срывает его эполет. Под конец даже не склонный к метафизическим прениям Максим Максимыч бесхитростно повторяет тот же вывод: «Видно, уж так у него на роду было написано!..»

Повесть «Фаталист» недаром завершает роман: в ней подводится итог, разъясняющий окончательно все загадки характера героя. Хотя само описанное в ней событие отнюдь не последнее в хронологии романа. По многим признакам пари с Вуличем случилось до истории с Бэлой: после нее Печорин недолго пробыл в крепости, был подавлен и нездоров, что не согласуется с его двухнедельным выездом в казачью станицу и внутренним самоощущением героя в тот период. Печорин в станице не похож на человека, только что пережившего душевную трагедию. Следовательно, похищение Бэлы, любовь и охлаждение к ней завершают «историю души человеческой», определяя состояние этой души на весь остаток времени.

В «Бэле» рассказано было, догадываемся мы теперь, о последней предпринятой Печориным попытке полюбить истинно, бросить вызов судьбе, разорвать порочный круг, в котором томилась отчаянием душа его. И – безуспешно.

Только в самом конце становится понятен тот жестокий

смех, каким ответил герой на утешения Максима Максимыча: то был смех холодного отчаяния. Отчаяния, которое создатель Печорина выразил в полных безнадежности строках:

И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем
вокруг, —
Такая пустая и глупая шутка...

Вот этой-то ш у т к е смеется лермонтовский герой. Или сам автор?..

Нам же должно осмыслить это роковое заблуждение безблагодатного восприятия бытия.

Печорин, предавшись соблазну фатализма, отрекается от собственной виновности во всем происшедшем и проникается иллюзией бессилия воли вообще. Грех двойной. Абсолютизация человеческой воли («да будет воля моя») ни к чему иному и привести не может, как только к разочарованию в каких бы то ни было возможностях этой воли.

Печорин трезво и мужественно разглядел источник многих своих бед, но не признавал природу их: «В первой молодости моей я был мечтателем; я любил ласкать попеременно то мрачные, то радужные образы, которые рисовало мне беспокойное и жадное воображение. Но что от этого мне осталось? одна усталость, как после ночной битвы с привидением, и смутное воспоминание, исполненное сожалений. В этой напрасной борьбе я истощил и жар души, и постоянство воли, необходимое для действительной жизни; я вступил в

эту жизнь, пережив ее уже мысленно, и мне стало скучно и гадко, как тому, кто читает дурное подражание давно ему известной книге». Недаром помещены эти мысли героя на последних страницах романа. Печорин, повторимся, узрел причину зла, но не природу своего соблазна.

Состояние души Печорина может вообще стать показательной иллюстрацией ко многим рассуждениям святых отцов о гибельности для человека страстей, уныния, самомнения, мечтательности и т. д. Лермонтов почерпнул подтверждение святоотеческой мысли в современной ему жизни.

И вот важно: сам Лермонтов, как и его герой, мучительно переживал свое одиночество, ощущая в том единство с современниками, со всем поколением своим – в грехе.

Чтобы избыть грех, следует его сознавать. Стихотворение «Дума» (1838) есть акт осознания общего греха поколения.

К добру и злу постыдно равнодушны,
В начале поприща мы вянем без борьбы;
Перед опасностью позорно малодушны,
И перед властью – презренные рабы.

...

И ненавидим мы, и любим мы случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,
И царствует в душе какой-то холод тайный,
Когда огонь кипит в крови.

Над тем же с горечью размышляет и Печорин:

«А мы, их жалкие потомки, скитающиеся по земле без убеждений и гордости, без наслаждения и страха, кроме той невольной боязни, сжимающей сердце при мысли о неизбежном конце, мы не способны более к великим жертвам ни для блага человечества, ни даже для собственного нашего счастья, потому что знаем его невозможность и равнодушно переходим от одного заблуждения к другому, не имея, как они, ни надежды, ни даже того неопределенного, хотя и истинного наслаждения, которое встречает душа во всякой борьбе с людьми или с судьбою...»

Скажем опять: подобные стихи и подобное совершенство прозы (отметим в который раз мастерство построения фразы) таят в себе и опасность: они могут стать и началом избавления от наваждения сходных дум, и, напротив, началом подпадения под их власть. Искусство коварно. Оно не только отражает, оно и заражает.

Внося противоречивые стремления в душу, искусство может обречь ее на долгую внутреннюю борьбу. Полярные противоречия, заложенные в лермонтовские создания, не могут не вызвать сильнейшего разряда – очищающего либо губительного. Эти противоречия суть отражение душевного состояния самого поэта.

Вероятнее всего, душа Лермонтова пребывала накануне духовного перерождения. А мы знаем (снова вспомним святых отцов), как опасно такое состояние: бесовские силы тогда становятся особенно активны. Сама дуэль с Мартыновым

стала следствием, несомненным следствием такой активности, которой Лермонтов не смог противостоять.

Осмысляя итог лермонтовского пути, Вл. Соловьев писал: «...мы знаем, как высока была степень прирожденной гениальности Лермонтова... У Лермонтова с бременем неисполненного призвания связано еще другое тяжкое бремя, облегчить которое мы можем и должны. Облекая в красоту формы ложные мысли и чувства, он делал и делает еще их привлекательными для неопытных, и если хоть один из малых сих вовлечен им на ложный путь, то сознание этого, теперь уже невольного и ясного для него, греха должно тяжелым камнем лежать на душе его. Обличая ложь воспетого им демонизма, только останавливающего людей на пути к их истинной сверхчеловеческой цели, мы во всяком случае подрываем эту ложь и уменьшаем хоть сколько-нибудь тяжесть, лежащую на этой великой душе».

М. Дунаев

Герой нашего времени

Во всякой книге предисловие есть первая и вместе с тем последняя вещь; оно или служит объяснением цели сочинения, или оправданием и ответом на критики. Но обыкновенно читателям дела нет до нравственной цели и до журнальных нападок, и потому они не читают предисловий. А жаль, что это так, особенно у нас. Наша публика так еще молода и простодушна, что не понимает басни, если в конце ее не находит нравоучения. Она не угадывает шутки, не чувствует иронии; она просто дурно воспитана. Она еще не знает, что в порядочном обществе и в порядочной книге явная брань не может иметь места; что современная образованность изобрела орудие более острое, почти невидимое, и тем не менее смертельное, которое, под одеждою лести, наносит неотразимый и верный удар. Наша публика похожа на провинциала, который, подслушав разговор двух дипломатов, принадлежащих к враждебным дворам, остался бы уверен, что каждый из них обманывает свое правительство в пользу взаимной, нежнейшей дружбы.

Эта книга испытала на себе еще недавно несчастную доверчивость некоторых читателей и даже журналов к буквальному значению слов. Иные ужасно обиделись, и не шутя, что им ставят в пример такого безнравственного человека, как Герой Нашего Времени; другие же очень тонко замечали, что

сочинитель нарисовал свой портрет и портреты своих знакомых... Старая и жалкая шутка! Но, видно, Русь так уж сотворена, что всё в ней обновляется, кроме подобных нелепостей. Самая волшебная из волшебных сказок у нас едва ли избегнет упрека в покушении на оскорбление личности!

Герой Нашего Времени, милостивые государи мои, точно, портрет, но не одного человека: это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии. Вы мне опять скажете, что человек не может быть так дурен, а я вам скажу, что ежели вы верили возможности существования всех трагических и романтических злодеев, отчего же вы не веруете в действительность Печорина? Если вы любовались вымыслами гораздо более ужасными и уродливыми, отчего же этот характер, даже как вымысел, не находит у вас пощады? Уж не оттого ли, что в нем больше правды, нежели бы вы того желали?..

Вы скажете, что нравственность от этого не выигрывает? Извините. Довольно людей кормили сластями; у них от этого испортился желудок: нужны горькие лекарства, едкие истины. Но не думайте, однако, после этого, чтоб автор этой книги имел когда-нибудь гордую мечту сделаться исправителем людских пороков. Боже его избави от такого невежества! Ему просто было весело рисовать современного человека, каким он его понимает и, к его и вашему несчастью, слишком часто встречал. Будет и того, что болезнь указана, а как ее излечить – это уж Бог знает!

Часть первая



I Бэла

Я ехал на перекладных из Тифлиса. Вся поклажа моей тележки состояла из одного небольшого чемодана, который до половины был набит путевыми записками о Грузии. Большая часть из них, к счастью для вас, потеряна, а чемодан, с остальными вещами, к счастью для меня, остался цел.

Уж солнце начинало прятаться за снеговой хребет, когда я въехал в Койшаурскую долину. Осетин-извозчик неукротимо погонял лошадей, чтоб успеть до ночи взобраться на Койшаурскую гору, и во все горло распевал песни. Славное место эта долина! Со всех сторон горы неприступные, красноватые скалы, обвешанные зеленым плющом и увенчанные купаминами, желтые обрывы, исчерченные промоинами, а там вы-

соко-высоко золотая бахрома снегов, а внизу Арагва, обнявшись с другой безыменной речкой, шумно вырывающейся из черного, полного мглой ущелья, тянется серебряною нитью и сверкает, как змея своею чешуею.

Подъехав к подошве Койшаурской горы, мы остановились возле духана. Тут толпилось шумно десятка два грузин и горцев; поблизости караван верблюдов остановился для ночлега. Я должен был нанять быков, чтоб втащить мою тележку на эту проклятую гору, потому что была уже осень и гололедица, — а эта гора имеет около двух верст длины.

Нечего делать, я нанял шесть быков и нескольких осетин. Один из них взвалил себе на плечи мой чемодан, другие стали помогать быкам почти одним криком.

За моею тележкой четверка быков тащила другую, как ни в чем не бывало, несмотря на то, что она была доверху накладена. Это обстоятельство меня удивило. За нею шел ее хозяин, покуривая из маленькой кабардинской трубочки, обделанной в серебро. На нем был офицерский сертук без эполет и черкесская мохнатая шапка. Он казался лет пятидесяти; смуглый цвет лица его показывал, что оно давно знакомо с закавказским солнцем, и преждевременно поседевшие усы не соответствовали его твердой походке и бодрому виду. Я подошел к нему и поклонился; он молча отвечал мне на поклон и пустил огромный клуб дыма.

— Мы с вами попутчики, кажется?

Он, молча, опять поклонился.

– Вы верно едете в Ставрополь?

– Так-с точно... с казенными вещами.

– Скажите, пожалуйста, отчего это вашу тяжелую тележку четыре быка тащат шутя, а мою пустую шесть скотов едва подвигают с помощью этих осетин?

Он лукаво улыбнулся и значительно взглянул на меня.

– Вы верно недавно на Кавказе?

– С год, – отвечал я.

Он улыбнулся вторично.

– А что ж?

– Да так-с! Ужасные бестии эти азиаты! Вы думаете, они помогают, что кричат? А черт их разберет, что они кричат? Быки-то их понимают; запрягите хоть двадцать, так коли они крикнут по-своему, быки всё ни с места... Ужасные плуты! А что с них возьмешь?.. Любят деньги драть с проезжающих... Избаловали мошенников! Увидите, они еще с вас возьмут на водку. Уж я их знаю, меня не проведут!

– А вы давно здесь служите?

– Да, я уж здесь служил при Алексее Петровиче¹, – отвечал он, приосанившись. – Когда он приехал на Линию, я был подпоручиком, – прибавил он, – и при нем получил два чина за дела против горцев.

– А теперь вы?..

– Теперь считаюсь в третьем линейном батальоне. А вы, смею спросить?..

¹ Ермолове. (Примечание Лермонтова.)

Я сказал ему.

Разговор этим кончился, и мы продолжали молча идти друг подле друга. На вершине горы нашли мы снег. Солнце закатилось, и ночь последовала за днем без промежутка, как это обыкновенно бывает на юге; но благодаря отливу снегов мы легко могли различать дорогу, которая все еще шла в гору, хотя уже не так круто. Я велел положить чемодан свой в тележку, заменить быков лошадьми и в последний раз оглянулся вниз на долину, – но густой туман, нахлынувший волнами из ущелий, покрывал ее совершенно, и ни единый звук не долетал уже оттуда до нашего слуха. Осетины шумно обступили меня и требовали на водку; но штабс-капитан так грозно на них прикрикнул, что они вмиг разбежались.

– Ведь этакой народ! – сказал он, – и хлеба по-русски называть не умеет, а выучил: «Офицер, дай на водку!» Уж татары по мне лучше: те хоть непьющие...

До станции оставалось еще с версту. Кругом было тихо, так тихо, что по жужжанию комара можно было следить за его полетом. Налево чернело глубокое ущелье, за ним и впереди нас темно-синие вершины гор, изрытые морщинами, покрытые слоями снега, рисовались на бледном небосклоне, еще сохранявшем последний отблеск зари. На темном небе начинали мелькать звезды, и странно, мне показалось, что они гораздо выше, чем у нас на севере. По обеим сторонам дороги торчали голые, черные камни; кой-где из-под снега выглядывали кустарники, но ни один сухой листок не шеве-

лился, и весело было слышать среди этого мертвого сна природы фыркание усталой почтовой тройки и неровное побрякивание русского колокольчика.

– Завтра будет славная погода! – сказал я.

Штабс-капитан не отвечал ни слова и указал мне пальцем на высокую гору, поднимавшуюся прямо против нас.

– Что ж это? – спросил я.

– Гуд-гора.

– Ну так что ж?

– Посмотрите, как курится.

И в самом деле, Гуд-гора курилась; по бокам ее ползали легкие струйки облаков, а на вершине лежала черная туча, такая черная, что на темном небе она казалась пятном.

Уже мы различали почтовую станцию, кровли окружающих ее саклей, и перед нами мелькали приветные огоньки, когда пахнул сырой, холодный ветер, ущелье загудело, и пошел мелкий дождь. Едва успел я накинуть бурку, как повалил снег. Я с благоговением посмотрел на штабс-капитана...

– Нам придется здесь ночевать, – сказал он с досадою, – в такую метель через горы не переедешь. Что? были ль обвалы на Крестовой? – спросил он извозчика.

– Не было, господин, – отвечал осетин-извозчик: – а висит много, много.

За неимением комнаты для проезжающих на станции, нам отвели ночлег в дымной сакле. Я пригласил своего спутника выпить вместе стакан чая, ибо со мной был чугунный чайник

– единственная отрада моя в путешествиях по Кавказу.

Сакля была прилеплена одним боком к скале; три скользкие, мокрые ступени вели к ее двери. Ощупью вошел я и наткнулся на корову (хлев у этих людей заменяет лакейскую). Я не знал, куда деваться; тут блеют овцы, там ворчит собака. К счастью, в стороне блеснул тусклый свет и помог мне найти другое отверстие наподобие двери. Тут открылась картина довольно занимательная: широкая сакля, которой крыша опиралась на два закопченные столба, была полна народа. Посередине трещал огонек, разложенный на земле, и дым, выталкиваемый обратно ветром из отверстия в крыше, растянулся вокруг такой густой пеленою, что я долго не мог осмотреться; у огня сидели две старухи, множество детей и один худощавый грузин, все в лохмотьях. Нечего было делать, мы приютились у огня, закурили трубки, и скоро чайник зашипел приветливо.

– Жалкие люди! – сказал я штабс-капитану, указывая на наших грязных хозяев, которые молча на нас смотрели в каком-то остоленении.

– Преглупый народ! – отвечал он. – Поверите ли? ничего не умеют, не способны ни к какому образованию! Уж по крайней мере наши кабардинцы или чеченцы хотя разбойники, голыши, зато отчаянные башки, а у этих и к оружию никакой охоты нет: порядочного кинжала ни на одном не увидишь. Уж подлинно осетины!

– А вы долго были в Чечне?

– Да, я лет десять стоял там в крепости с ротою, у Каменного Брода, знаете?

– Слыхал.

– Вот, батюшка, надоели нам эти головорезы; нынче, слава Богу, смирнее, а бывало, на сто шагов отойдешь за вал, уже где-нибудь косматый дьявол сидит и караулит: чуть зазевался, того и гляди – либо аркан на шее, либо пуля в затылке. А молодцы!..

– А, чай, много с вами было приключений? – сказал я, подстрекаемый любопытством.

– Как не бывать! бывало...

Тут он начал щипать левый ус, повесил голову и призадумался. Мне страх хотелось вытянуть из него какую-нибудь историю – желание, свойственное всем путешествующим и записывающим людям. Между тем чай поспел, я вытащил из чемодана два походные стаканчика, налил и поставил один перед ним. Он отхлебнул и сказал как будто про себя: «Да, бывало!» Это восклицание подало мне большие надежды. Я знаю, старые кавказцы любят поговорить, порассказать; им так редко это удается: другой лет пять стоит где-нибудь в захолустье с ротой, и целые пять лет ему никто не скажет *здравствуйте* (потому что фельдфебель говорит *здравия желаю*). А поболтать было бы о чем: кругом народ дикий, любопытный, каждый день опасность, случаи бывают чудные, и тут поневоле пожалеешь о том, что у нас так мало записывают.

– Не хотите ли подбавить рому? – сказал я моему собеседнику. – У меня есть белый из Тифлиса; теперь холодно.

– Нет-с, благодарствуйте, не пью.

– Что так?

– Да так. Я дал себе заклятье. Когда я был еще подпоручиком, раз, знаете, мы подгуляли между собою, а ночью сделалась тревога; вот мы и вышли перед фрунт навеселе, да уж и досталось нам, как Алексей Петрович узнал: не дай Господи, как он рассердился! чуть-чуть не отдал под суд. Оно и точно: другой раз целый год живешь, никого не видишь, да как тут еще водка – пропавший человек.

Услышав это, я почти потерял надежду.

– Да вот хоть черкесы, – продолжал он, – как напьются бузы на свадьбе или на похоронах, так и пошла рубка. Я раз насилу ноги унес, а еще у мирно́ва князя был в гостях.

– Как же это случилось?

– Вот (он набил трубку, затянулся и начал рассказывать), вот извольте видеть, я тогда стоял в крепости за Терекон с ротой – этому скоро пять лет. Раз, осенью, пришел транспорт с провиантом; в транспорте был офицер, молодой человек лет двадцати пяти. Он явился ко мне в полной форме и объявил, что ему велено остаться у меня в крепости. Он был такой тоненький, беленький, на нем мундир был такой новенький, что я тотчас догадался, что он на Кавказе у нас недавно. «Вы верно, – спросил я его, – переведены сюда из России?» – «Точно так, господин штабс-капитан», – отвечал

он. Я взял его за руку и сказал: «Очень рад, очень рад. Вам будет немножко скучно... ну да мы с вами будем жить по-приятельски. Да, пожалуйста, зовите меня просто Максим Максимыч, и пожалуйста, – к чему эта полная форма? приходите ко мне всегда в фуражке». Ему отвели квартиру, и он поселился в крепости.

– А как его звали? – спросил я Максима Максимыча.

– Его звали... Григорьем Александровичем *Печориным*. Славный был малый, смею вас уверить; только немножко странен. Ведь, например, в дождик, в холод, целый день на охоте, все иззябнут, устанут – а ему ничего. А другой раз сидит у себя в комнате, ветер пахнёт, уверяет, что простудился; ставнем стукнет, он вздрогнет и побледнеет; а при мне ходил на кабана один на один; бывало, по целым часам слова не добьешься, зато уж иногда как начнет рассказывать, так животики надорвешь со смеха... Да-с, с большими был странностями, и, должно быть, богатый человек: сколько у него было разных дорогих вещей!..

– А долго он с вами жил? – спросил я опять.

– Да с год. Ну да уж зато памятен мне этот год; наделал он мне хлопот, не тем будь помянут! Ведь есть, право, такие люди, у которых на роду написано, что с ними должны случаться разные необыкновенные вещи.

– Необыкновенные? – воскликнул я с видом любопытства, подливая ему чая.

– А вот я вам расскажу. Верст шесть от крепости жил один

мирной князь. Сынишко его, мальчик лет пятнадцати, повадился к нам ездить: всякий день бывало то за тем, то за другим; и уж точно избаловали мы его с Григорьем Александровичем. А уж какой был головорез, проворный на что хочешь: шапку ли поднять на всем скаку, из ружья ли стрелять. Одно было в нем нехорошо: ужасно падок был на деньги. Раз, для смеха, Григорий Александрович обещался ему дать червонец, коли он ему украдет лучшего козла из отцовского стада; и что ж вы думаете? на другую же ночь притащил его за рога. А бывало, мы его вздумаем дразнить, так глаза кровью и нальются, и сейчас за кинжал. «Эй, Азамат, не сносить тебе головы, – говорил я ему, – яман² будет твоя башка!»

Раз приезжает сам старый князь звать нас на свадьбу: он отдавал старшую дочь замуж, а мы были с ним кунаки: так нельзя же, знаете, отказаться, хоть он и татарин. Отправились. В ауле множество собак встретило нас громким лаем. Женщины, увидя нас, прятались; те, которых мы могли рассмотреть в лицо, были далеко не красавицы. «Я имел гораздо лучшее мнение о черкешенках», – сказал мне Григорий Александрович. «Погодите», – отвечал я, усмехаясь. У меня было свое на уме.

У князя в сакле собралось уже множество народа. У азиатов, знаете, обычай всех встречных и поперечных приглашать на свадьбу. Нас приняли с всеми почестями и повели в кунацкую. Я, однако ж, не позабыл подметить, где поставили

² Плохо (тюрк.).

наших лошадей, знаете, для непредвидимого случая.

– Как же у них празднуют свадьбу? – спросил я штабс-капитана.

– Да обыкновенно. Сначала мулла прочитает им что-то из Корана; потом дарят молодых и всех их родственников; едят, пьют бузу; потом начинается джигитовка, и всегда один какой-нибудь оборвыш, засаленный, на скверной, хромой лошаденке, ломается, паясничает, смешит честную компанию; потом, когда смеркнется, в кунацкой начинается, по нашему сказать, бал. Бедный старичишка бренчит на трехструнной... забыл, как по-ихнему... ну, да вроде нашей балалайки. Девки и молодые ребята становятся в две шеренги, одна против другой, хлопают в ладоши и поют. Вот выходит одна девка и один мужчина на середину и начинают говорить друг другу стихи нараспев, что попало, а остальные подхватывают хором. Мы с Печориным сидели на почетном месте, и вот к нему подошла меньшая дочь хозяина, девушка лет шестнадцати, и пропела ему... как бы сказать?.. вроде комплимента.

– А что ж такое она пропела, не помните ли?

– Да, кажется, вот так: «Стройны, дескать, наши молодые джигиты, и кафтаны на них серебром выложены, а молодой русский офицер стройнее их, и галуны на нем золотые. Он как тополь между ними; только не расти, не цвести ему в нашем саду». Печорин встал, поклонился ей, приложив руку ко лбу и сердцу, и просил меня отвечать ей; я хорошо знаю

по-ихнему и перевел его ответ.

Когда она от нас отошла, тогда я шепнул Григорию Александровичу: «Ну что, какова?»

– Прелесть! – отвечал он. – А как ее зовут? – «Ее зовут Бэлою», – отвечал я.

И точно, она была хороша: высокая, тоненькая, глаза черные, как у горной серны, так и заглядывали к вам в душу. Печорин в задумчивости не сводил с нее глаз, и она частенько исподлобья на него посматривала. Только не один Печорин любовался хорошенькой княжной: из угла комнаты на нее смотрели другие два глаза, неподвижные, огненные. Я стал вглядываться и узнал моего старого знакомца Казбича. Он, знаете, был не то, чтоб мирной, не то, чтоб не мирной. Подозрений на него было много, хоть он ни в какой шалости не был замечен. Бывало, он приводил к нам в крепость баранов и продавал дешево, только никогда не торговался: что запросит, давай, – хоть зарежь, не уступит. Говорили про него, что он любит таскаться за Кубань с абреками, и, правду сказать, рожа у него была самая разбойничья: маленький, сухой, широкоплечий... А уж ловок-то, ловок-то был, как бес! Бешмет всегда изорванный, в заплатках, а оружие в серебре. А лошадь его славилась в целой Кабарде, – и точно, лучше этой лошади ничего выдумать невозможно. Недаром ему завидовали все наездники и не раз пытались ее украсть, только не удавалось. Как теперь гляжу на эту лошадь: вороная как смоль, ноги – струнки, и глаза не хуже, чем у Бэлы; а какая

сила! скачи хоть на пятьдесят верст; а уж выезжена – как собака бегают за хозяином, голос даже его знала! Бывало, он ее никогда и не привязывает. Уж такая разбойничья лошадь!..

В этот вечер Казбич был угрюмее, чем когда-нибудь, и я заметил, что у него под бешметом надета кольчуга. «Недаром на нем эта кольчуга, – подумал я, – уж он верно что-нибудь замышляет».

Душно стало в сакле, и я вышел на воздух освежиться. Ночь уж ложилась на горы, и туман начинал бродить по ущельям.

Мне вздумалось завернуть под навес, где стояли наши лошади, посмотреть, есть ли у них корм, и притом осторожность никогда не мешает: у меня же была лошадь славная, и уж не один кабардинец на нее умильно поглядывал, приговаривая: *«Якиш тхе, чек якиш!»*³

Пробираюсь вдоль забора и вдруг слышу голоса; один голос я тотчас узнал: это был повеса Азамат, сын нашего хозяина; другой говорил реже и тише. «О чем они тут толкуют? – подумал я, – уж не о моей ли лошадке?» Вот присел я у забора и стал прислушиваться, стараясь не пропустить ни одного слова. Иногда шум песен и говор голосов, вылетая из сакли, заглушали любопытный для меня разговор.

– Славная у тебя лошадь! – говорил Азамат, – если б я был хозяин в доме и имел табун в триста кобыл, то отдал бы половину за твоего скакуна, Казбич!

³ Хороша, очень хороша! (*тюрк.*).

«А, Казбич!» – подумал я и вспомнил кольчугу.



– Да, – отвечал Казбич после некоторого молчания, – в целой Кабарде не найдешь такой. Раз, – это было за Терekom, – я ездил с абреками отбивать русские табуны; нам не посчастливилось, и мы рассыпались кто куда. За мной нес-

лись четыре казака; уж я слышал за собою крики гяуров, и передо мною был густой лес. Прилег я на седло, поручил себя Аллаху и в первый раз в жизни оскорбил коня ударом плети. Как птица нырнул он между ветвями; острые колючки рвали мою одежду, сухие сучья карагача били меня по лицу. Конь мой прыгал через пни, разрывал кусты грудью. Лучше было бы мне его бросить у опушки и скрыться в лесу пешком, да жаль было с ним расстаться, – и пророк вознаградил меня. Несколько пуль провизжало над моей головою; я уж слышал, как спешившиеся казаки бежали по следам... Вдруг передо мною рытвина глубокая; скакун мой призадумался – и прыгнул. Задние его копыта оборвались с противного берега, и он повис на передних ногах; я бросил поводья и полетел в овраг; это спасло моего коня: он выскочил. Казаки всё это видели, только ни один не спустился меня искать: они, верно, думали, что я убится до смерти, и я слышал, как они бросились ловить моего коня. Сердце мое облилось кровью; пополз я по густой траве вдоль по оврагу, – смотрю: лес кончился, несколько казаков выезжают из него на поляну, и вот выскакивает прямо к ним мой Карагёз; все кинулись за ним с криком; долго, долго они за ним гонялись, особенно один раза два чуть-чуть не накинул ему на шею аркана; я задрожал, опустил глаза и начал молиться. Через несколько мгновений поднимаю их – и вижу: мой Карагёз летит, развевая хвост, вольный как ветер, а гяуры далеко один за другим тянутся по степи на измученных конях. Валлах! это правда,

истинная правда! До поздней ночи я сидел в своем овраге. Вдруг, что ж ты думаешь, Азамат? во мраке слышу, бегают по берегу оврага конь, фыркает, ржет и бьет копытами о землю; я узнал голос моего Карагёза: это был он, мой товарищ!.. С тех пор мы не разлучались.

И слышно было, как он трепал рукою по гладкой шее своего скакуна, давая ему разные нежные названия.

– Если б у меня был табун в тысячу кобыл, – сказал Азамат, – то отдал бы тебе его весь за твоего Карагёза.

– Йок⁴, не хочу, – отвечал равнодушно Казбич.

– Послушай, Казбич, – говорил, ласкаясь к нему, Азамат, – ты добрый человек, ты храбрый джигит, а мой отец боится русских и не пускает меня в горы; отдай мне свою лошадь, и я сделаю все, что ты хочешь, украду для тебя у отца лучшую его винтовку или шашку, что только пожелаешь, – а шашка его настоящая гурда: приложи лезвием к руке, сама в тело вопьется; а кольчуга – такая, как твоя, нипочем.

Казбич молчал.

– В первый раз как я увидел твоего коня, – продолжал Азамат, – когда он под тобой крутился и прыгал, раздувая ноздри, и кремни брызгами летели из-под копыт его, в моей душе сделалось что-то непонятное, и с тех пор все мне опостылело: на лучших скакунов моего отца смотрел я с презрением, стыдно было мне на них показаться, и тоска овладела мной; и, тоскуя, просиживал я на утесе целые дни, и ежеми-

⁴ Нет (тюрк.).

нотно мыслям моим являлся вороной скакун твой с своей стройной поступью, с своим гладким, прямым, как стрела, хребтом; он смотрел мне в глаза своими бойкими глазами, как будто хотел слово вымолвить. Я умру, Казбич, если ты мне не продашь его! – сказал Азамат дрожащим голосом.

Мне послышалось, что он заплакал: а надо вам сказать, что Азамат был преупрямый мальчишка, и ничем, бывало, у него слез не выбьешь, даже когда он был и помоложе.

В ответ на его слезы послышалось что-то вроде смеха.

– Послушай! – сказал твердым голосом Азамат, – видишь, я на все решаюсь. Хочешь, я украду для тебя мою сестру? Как она пляшет! как поет! а вышивает золотом – чудо! Не бывало такой жены и у турецкого падишаха... Хочешь? дождись меня завтра ночью там в ущелье, где бежит поток: я пойду с нею мимо в соседний аул, – и она твоя. Неужели не стоит Бэла твоего скакуна?

Долго, долго молчал Казбич; наконец, вместо ответа, он затянул старинную песню вполголоса:⁵

Много красавиц в аулах у нас,
Звезды сияют во мраке их глаз,
Сладко любить их, завидная доля;
Но веселей молодецкая воля.
Золото купит четыре жены,

⁵ Я прошу прощения у читателей в том, что переложил в стихи песню Казбича, переданную мне, разумеется, прозой; но привычка – вторая натура. (Примеч. М. Ю. Лермонтова.)

Конь же лихой не имеет цены:
Он и от вихря в степи не отстанет,
Он не изменит, он не обманет.

Напрасно упрашивал его Азамат согласиться, и плакал, и льстил ему, и клялся; наконец Казбич нетерпеливо прервал его:

– Поди прочь, безумный мальчишка! Где тебе ездить на моем коне? На первых трех шагах он тебя сбросит, и ты разобьешь себе затылок об камни.

– Меня! – крикнул Азамат в бешенстве, и железо детского кинжала зазвенело об кольчугу. Сильная рука оттолкнула его прочь, и он ударился об плетень так, что плетень зашатался. “Будет потеха!” – подумал я, кинулся в конюшню, взнуздal лошадей наших и вывел их на задний двор. Через две минуты уж в сакле был ужасный гвалт. Вот что случилось: Азамат вбежал туда в разорванном бешмете, говоря, что Казбич хотел его зарезать. Все выскочили, схватились за ружья – и пошла потеха! Крик, шум, выстрелы; только Казбич уж был верхом и вертелся среди толпы по улице, как бес, отмахиваясь шашкой.

– Плохое дело в чужом пиру похмелье, – сказал я Григорию Александровичу, поймав его за руку, – не лучше ли нам поскорее обратиться?

– Да погодите, чем кончится.

– Да уж, верно, кончится худо; у этих азиатов всё так: на-

тянулись бузы, и пошла резня! – Мы сели верхом и ускакали домой.

– А что Казбич? – спросил я нетерпеливо у штабс-капитана.

– Да что этому народу делается! – отвечал он, допивая стакан чая, – ведь ускользнул!

– И не ранен? – спросил я.

– А Бог его знает! Живущи, разбойники! Видал я-с иных в деле, например: ведь весь искомлот, как решето, штыками, а все махает шашкой. – Штабс-капитан после некоторого молчания продолжал, топнув ногою о землю: – Никогда себе не прощу одного: черт меня дернул, приехав в крепость, пересказать Григорью Александровичу все, что я слышал, сидя за забором; он посмеялся, – такой хитрый! – а сам задумал кое-что.

– А что такое? Расскажите, пожалуйста.

– Ну уж нечего делать! начал рассказывать, так надо продолжать.

Дня через четыре приезжает Азамат в крепость. По обыкновению, он зашел к Григорью Александровичу, который его всегда кормил лакомствами. Я был тут. Зашел разговор о лошадях, и Печорин начал расхваливать лошадь Казбича: уж такая-то она резвая, красивая, словно серна, – ну, просто, по его словам, этакой и в целом мире нет.

Засверкали глазенки у татарчонка, а Печорин будто не замечает; я заговорю о другом, а он, смотришь, тотчас собьет

разговор на лошадь Казбича. Эта история продолжалась всякий раз, как приезжал Азамат. Недели три спустя стал я замечать, что Азамат бледнеет и сохнет, как бывает от любви в романах-с. Что за диво?..

Вот видите, я уж после узнал всю эту штуку: Григорий Александрович до того его задразнил, что хоть в воду. Раз он ему и скажи:

– Вижу, Азамат, что тебе больно понравилась эта лошадь; а не видать тебе ее, как своего затылка! Ну, скажи, что бы ты дал тому, кто тебе ее подарил бы?..

– Все, что он захочет, – отвечал Азамат.

– В таком случае я тебе ее достану, только с условием...

Поклянись, что ты его исполнишь...

– Клянусь... Клянись и ты!

– Хорошо! Клянусь, ты будешь владеть конем; только за него ты должен отдать мне сестру Бэлу: Карагёз будет ее калымом. Надеюсь, что торг для тебя выгоден.

Азамат молчал.

– Не хочешь? Ну, как хочешь! Я думал, что ты мужчина, а ты еще ребенок: рано тебе ездить верхом...

Азамат вспыхнул.

– А мой отец? – сказал он.

– Разве он никогда не уезжает?

– Правда...

– Согласен?..

– Согласен, – прошептал Азамат, бледный как смерть. –

Когда же?

– В первый раз, как Казбич приедет сюда; он обещался пригнать десяток баранов; остальное – мое дело. Смотри же, Азамат!

Вот они и сладили это дело... по правде сказать, нехорошее дело! Я после и говорил это Печорину, да только он мне отвечал, что дикая черкешенка должна быть счастлива, имея такого милого мужа, как он, потому что по-ихнему он все-таки ее муж, а что Казбич – разбойник, которого надо было наказать. Сами посудите, что ж я мог отвечать против этого?.. Но в то время я ничего не знал об их заговоре. Вот раз приехал Казбич и спрашивает, не нужно ли баранов и меда; я велел ему привести на другой день.

– Азамат! – сказал Григорий Александрович, – завтра Карагёз в моих руках; если нынче ночью Бэла не будет здесь, то не видать тебе коня...

– Хорошо! – сказал Азамат и поскакал в аул.

Вечером Григорий Александрович вооружился и выехал из крепости: как они сладили это дело, не знаю, – только ночью они оба возвратились, и часовой видел, что поперек седла Азамата лежала женщина, у которой руки и ноги были связаны, а голова окутана чадрой.

– А лошадь? – спросил я у штабс-капитана.

– Сейчас, сейчас. На другой день утром рано приехал Казбич и пригнал десяток баранов на продажу. Привязав лошадь у забора, он вошел ко мне; я попотчевал его чаем, по-

тому что хотя разбойник он, а все-таки был моим кунаком⁶.

Стали мы болтать о том, о сем: вдруг смотрю, Казбич вздрогнул, переменился в лице – и к окну; но окно, к несчастью, выходило на задворье.

– Что с тобой? – спросил я.

– Моя лошадь!.. лошадь!.. – сказал он, весь дрожа.

Точно, я услышал топот копыт: «Это, верно, какой-нибудь казак приехал...»

– Нет! Урус яман, яман! – заревел он и опрометью бросился вон, как дикий барс. В два прыжка он был уж на дворе; у ворот крепости часовой загородил ему путь ружьем; он перескочил через ружье и кинулся бежать по дороге... Вдали вилась пыль – Азамат скакал на лихом Карагёзе; на бегу Казбич выхватил из чехла ружье и выстрелил, с минуту он остался неподвижен, пока не убедился, что дал промах; потом завизжал, ударил ружье о камень, разбил его вдребезги, повалился на землю и зарыдал, как ребенок... Вот кругом него собрался народ из крепости – он никого не замечал; постояли, потолковали и пошли назад; я велел возле его положить деньги за баранов – он их не тронул, лежал себе ничком, как мертвый. Поверите ли, он так пролежал до поздней ночи и целую ночь?... Только на другое утро пришел в крепость и стал просить, чтоб ему назвали похитителя. Часовой, который видел, как Азамат отвязал коня и ускакал на нем, не почел за нужное скрывать. При этом имени глаза Казбича

⁶ Кунак значит – приятель. (Примеч. М. Ю. Лермонтова.)

засверкали, и он отправился в аул, где жил отец Азамата.

– Что ж отец?

– Да в том-то и штука, что его Казбич не нашел: он куда-то уезжал дней на шесть, а то удалось ли бы Азамату увезти сестру?

А когда отец возвратился, то ни дочери, ни сына не было. Такой хитрец: ведь смекнул, что не сносить ему головы, если б он попался. Так с тех пор и пропал: верно, пристал к какой-нибудь шайке абреков, да и сложил буйную голову за Терекон или за Кубанью: туда и дорога!..

Признаюсь, и на мою долю порядочно досталось. Как я только проведал, что черкешенка у Григорья Александровича, то надел эполеты, шпагу и пошел к нему.

Он лежал в первой комнате на постели, подложив одну руку под затылок, а в другой держа погасшую трубку; дверь во вторую комнату была заперта на замок, и ключа в замке не было. Я все это тотчас заметил... Я начал кашлять и постукивать каблуками о порог, – только он притворялся, будто не слышит.

– Господин прапорщик! – сказал я как можно строже. – Разве вы не видите, что я к вам пришел?

– Ах, здравствуйте, Максим Максимыч! Не хотите ли трубку? – отвечал он, не приподнимаясь.

– Извините! Я не Максим Максимыч: я штабс-капитан.

– Все равно. Не хотите ли чаю? Если б вы знали, какая мучит меня забота!

– Я все знаю, – отвечал я, подошед к кровати.

– Тем лучше: я не в духе рассказывать.

– Господин прапорщик, вы сделали проступок, за который и я могу отвечать...

– И, полноте! что ж за беда? Ведь у нас давно все пополам.

– Что за шутки? Пожалуйста вашу шпагу!

– Митька, шпагу!...

Митька принес шпагу. Исполнив долг свой, сел я к нему на кровать и сказал:

– Послушай, Григорий Александрович, признайся, что нехорошо.

– Что нехорошо?

– Да то, что ты увез Бэлу... Уж эта мне бестия Азамат!..

Ну, признайся, – сказал я ему.

– Да когда она мне нравится?..

Ну, что прикажете отвечать на это?.. Я стал в тупик. Однако ж после некоторого молчания я ему сказал, что если отец станет ее требовать, то надо будет отдать.

– Вовсе не надо.

– Да он узнает, что она здесь?

– А как он узнает?

Я опять стал в тупик.

– Послушайте, Максим Максимыч! – сказал Печорин, приподнявшись, – ведь вы добрый человек, – а если отдадим дочь этому дикарю, он ее зарежет или продаст. Дело сделано, не надо только охотою портить; оставьте ее у меня, а у себя

мою шпагу...

– Да покажите мне ее, – сказал я.

– Она за этой дверью; только я сам нынче напрасно хотел ее видеть: сидит в углу, закутавшись в покрывало, не говорит и не смотрит: пуглива, как дикая серна. Я нанял нашу духанщицу: она знает по-татарски, будет ходить за нею и приучит ее к мысли, что она моя, потому что она никому не будет принадлежать, кроме меня, – прибавил он, ударив кулаком по столу.

Я и в этом согласился... Что прикажете делать? Есть люди, с которыми непременно должно соглашаться.

– А что? – спросил я у Максима Максимыча, – в самом ли деле он приучил ее к себе, или она зачахла в неволе, с тоски по родине?

– Помилуйте, отчего же с тоски по родине? Из крепости видны были те же горы, что из аула, а этим дикарям больше ничего не надобно. Да притом Григорий Александрович каждый день дарил ей что-нибудь: первые дни она молча, гордо отталкивала подарки, которые тогда доставались духанщице и возбуждали ее красноречие. Ах, подарки! чего не сделает женщина за цветную тряпичку!.. Ну, да это в сторону... Долго бился с нею Григорий Александрович; между тем учился по-татарски, и она начинала понимать по-нашему. Мало-помалу она приучилась на него смотреть, сначала исподлобья, искоса, и всё грустила, напевала свои песни вполголоса, так что, бывало, и мне становилось грустно, ко-

гда слушал ее из соседней комнаты. Никогда не забуду одной сцены: шел я мимо и заглянул в окно; Бэла сидела на лежанке, повесив голову на грудь, а Григорий Александрович стоял перед нею.

– Послушай, моя пери, – говорил он, – ведь ты знаешь, что рано или поздно ты должна быть моею, – отчего же только мучишь меня? Разве ты любишь какого-нибудь чеченца? Если так, я тебя сейчас отпущу домой. – Она вздрогнула едва приметно и покачала головой. – Или, – продолжал он, – я тебе совершенно ненавистен? – Она вздохнула. – Или твоя вера запрещает полюбить меня? – Она побледнела и молчала. – Поверь мне, Аллах для всех племен один и тот же, и если он мне позволяет любить тебя, отчего же запретит тебе платить мне взаимностью? – Она посмотрела ему пристально в лицо, как будто пораженная этой новой мыслью; в глазах ее выразились недоверчивость и желание убедиться. Что за глаза! они так и сверкали, будто два угля. – Послушай, милая, добрая Бэла, – продолжал Печорин, – ты видишь, как я тебя люблю; я всё готов отдать, чтоб тебя развеселить: я хочу, чтоб ты была счастлива; а если ты снова будешь грустить, то я умру. Скажи, ты будешь веселей?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.